

литве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой – наша Острая гора, так и зову ее Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, – любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела, бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка» (Б. 116–117).

Это звучит как старая баллада, полная чудес и волшебства... Но Бог здесь – уже не тот живой Бог, лик Которого проглядывает во всех вещах, во всех определениях, в каждой судьбе и на пути к Которому – Его именем, послушанием Его Слову – действительность, оставаясь собой, преобразуется и обретает святость. Земля здесь – не тот символ плодородной, первозданной глубины и вместе с тем священной неприкосновенности Божественного распорядка, который присутствует, скажем, в словах Сони, угадавшей вину Раскольниковова: «...Глаза ее, доселе полные слез, вдруг сверкнули. – Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: “Я убил!” Тогда Бог опять тебе жизни пошлет» (Пр. 438). Здесь – нечто совсем другое: зияющая пропасть неискупленной природы и тоска, утягивающая в бездну.

Однако та творческая интуиция Достоевского, благодаря которой существенное раскрывается как бы само собой, уже одним выбором места и направления избирает для этой женщины Шатова в качестве единственного партнера, понимающего ее и пользующе-